

М · А · Р · И · Н · А

СТЕПНОВА



ХИРУРГ



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство АСТ  
МОСКВА

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С79

Издательство благодарит литературное агентство  
«Banke, Goumen & Smirnova» за содействие в приобретении прав

Художественное оформление *Екатерины Фerez*

В оформлении переплета использован  
фрагмент картины *Яна Вермеера*  
«Девушка с жемчужной сережкой»

**Степнова, Марина Львовна.**

С79 Хирург : [роман] / Марина Степнова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2024. — 317, [3] с. — (Эксклюзивная новая классика).

ISBN 978-5-17-095134-5

Марина Степнова — прозаик, автор бестселлера «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга», шорт-лист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна»), романов «Сад» и «Безбожный переулоч», сборника рассказов «Где-то под Гроссето». Ее книги переведены на двадцать пять языков.

В романе «Хирург» история гениального пластического хирурга Аркадия Хрипунова переплетена с рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха — пророка и основателя государства исламитов-низаритов XI века, хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человеческие тела, а значит, и судьбы. Даруя людям новые лица, он видит перед собой просто материал — хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего материала беспрекословного повиновения и собственноручно убивает неудобных. Оба чувствуют себя существами высшего порядка, человеческие страсти их не трогают, единственное, что способно поразить избранных Богом, — земная красота...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095134-5

© Степнова М.Л.  
© ООО «Издательство АСТ»

## Оглавление

Часть первая. ИМЯ	7
Часть вторая. ПРОМЫСЛ	55
Часть третья. ДЕЯНИЕ	157
Часть четвертая. ЖЕРТВА	240

Хрипунову плевать было на людей.

Хрипунов хотел стать Богом.

Что нужно человеку, решившему  
стать Богом?

Имя.

Промысл.

Деяние.

Жертва.

Все это было у Хрипунова.

И он стал Богом.

Он. Им. Стал.

## Часть первая

# ИМЯ

*Иглы. Искривленные режущие с тонким лезвием. Искривленные реверсивные режущие. Полукруглые режущие, суживающиеся к концу. Сверхизогнутые режущие. Режущие, суживающиеся к концу «грубые» в виде рыболовного крючка. Прецизионные, реверсивные режущие изогнутые. Прямые режущие. Троякарные полукруглые «грубые»*

Аркадий Хрипунов — это звучало, как будто кто-то раздавил в кулаке грецкие орехи. Хорошо это звучало — Хейман Штейнталь наверняка остался бы доволен, если бы, конечно, хрипуновская мама была способна произнести слово «ономапоэтическая». Но она, слава Богу, была не способна — она родилась счастливой и умерла счастливой, всю жизнь мирно проносив в немудреной крови неведомую генетическую червоточину.

Ей повезло.

Хрипунову — нет.

Вообще-то хрипуновский папа хотел назвать сына Ванюшкой. Хрипуновская мама не возражала — она была внучкой, дочкой и женой заводских алкоголиков, это, знаете ли, больше, чем психология, — это судьба. И быть бы Хрипунову банальным Иваном, жить в бараке, пить беленькую, загибаться на заводе да укачивать на ночь каменистой ладонью застарелый злой цирроз, если бы не два человека — Аркадий Гайдар и Хасан ибн Саббах.

Про первого хрипуновская мама что-то слышала в школе — но забыла. И не вспомнила бы, если б хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное женино пузо, чреватое будущим наследником, и не пошел в завком — орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости и через месяц одарил ожидающую приплода чету ордером на двухкомнатную темную конуру на первом этаже облезлого дома — купеческой еще, стародавней, окраинной постройки. Именовалось все это великолепие: ул. Дружбы, д. 39, кв. 12.

До Хрипуновых в квартире проживали евреи, вполне советские, мирные, ручные — в микрорайоне ими даже гордились, как местной достопримечательностью, потому как никакой другой экзоти-

ки поблизости сыскать было нельзя — а евреи вот они, они всегда под рукой. Местная урла евреев не обижала, но пару раз в месяц аккуратно била им все окна. Не по злобе, а потому что на звездный звон и хруст медленно падающих в ночь стекольных пластов выскакивало из освещенного розового нутра квартиры сразу все еврейское семейство, включая полоумную старуху Марию Исааковну, лет пятьдесят преподававшую в местной СОШ № 5 русскую литературу. И в этом ломком звоне и хрусте, в этих гортанных выкликах, в этом внезапном появлении из света в глухую, лопочущую листвой темноту было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах, ощущая, как сладко и томительно сосет под ложечкой странная, вращающаяся пустота.

Потом бархатный занавес медленно опускался, обдав зрителей тяжелым пыльным вздохом, и урла, слегка стесняясь пережитого катарсиса, вылезала из кустов и враскачку шла к волшебной квартире — цыкать зубом и принимать от профессионально глухой и профессионально же приветливой Марии Исааковны дежурный стаканчик — мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству пристанищем для детских цветных карандашей.

Как же, Марисакна, спасибочки, все помню — «жы» пиши с буквой «ы», «чу» пиши и все такое. И не говорите — скока развелось кругом хулиганья! А Костик-то? Не, все сидит, да... Он бы живо их, того... Ну, в смысле... чё, сёдни будем вставлять или до завтра переможетесь?

Зимой, заметьте, стекла не били никогда. Понимали. Деликатно терпели до весны — одинокие, угрюмые, низкорослые, тоскующие без единственного в мире по-настоящему прекрасного чуда. Алкали душой. Жаждали. Ждали.

Пока не дождались суетливого исхода, деревянных ящичков, чемоданов, неопрятных узлов, которые все выносили и выносили из подъезда, как будто там, в квартире, был бесконечный морг, который потребовалось срочно освободить к ноябрьским праздникам. И не успела захлопнуться за евреями государственная граница, как в брошенное жилище въехали Хрипуновы.

Квартира, манившая своим кукольным застельным уютом всю местную шпану, лежала, вскрытая, как разоренный курган, жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротое брюхо и предсмертно перемешанные культурные слои. Рассохшиеся доисторические резинки, стискивавшие чьи-то выпуклые пахучие ляжки, очёски седых скрипучих волос, накрест схваченные бе-

чевкой, пачки школьных тетрадей, молоток, еще столетие назад потерявший деревянную ручку, какие-то ломкие от старости облигации довоенного займа, изувеченные игрушки и даже не пожелавшая эмигрировать мельхиоровая ложечка, дальновидно шмыгнувшая под плинтус, откуда ее ловко извлек веселый грузчик, нанятый Хрипуновым заносить шкаф и буфет. Извлек и с профессиональной ловкостью уронил в карман, мимоходом вытирая о штаны пыльные пальцы: грязно оказалось у евреев, просто тихий ужас, настоящий свинарник, и видно, что не потому грязно, что укладывались, а потому, что сроду не убивались по-человечески. Ни разу за все свои шесть тысяч лет.

Хрипуновский папа мрачно матерился, надавая плечом, надсаживаясь, вставляя в простенок продавленный супружеский диван (когда-то красный, теперь просто потертый до цвета благородного бордо), на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленький Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроватку, и на котором — спустя энное количество лет — хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. А от чего еще умирают простые русские люди?

Всех глухо злила эта годами пластовавшаяся грязь, эта изнанка чужой, неинтересной жизни — и хрипуновского папу, и грузчика, и хрипуновскую старенькую мебель, не желавшую втискиваться в непривычное пространство, пропитанное ароматами неопрятной старости и просроченных специй. Даже маленький Хрипунов изнутри толкал негодующей ногой красную, до звона натянутую стенку матки.

И только хрипуновская мама, придерживая двумя руками тугое, выпуклое, байковое пузо, бродила среди осиротевших вещей с плывущим от умиления лицом и изумленно таращилась выпученным пупком то на выпотрошенную, зияющую малиново-бархатным нутром готовальню, то на валяющуюся на полу детгизовскую книжку, вполне крепенькую, лишь чуть, самую малость, потрепанную по обшлагам.

«Аркадий Гайдар, “Голубая чашка”» — она не спеша проехала взглядом по названию, произвольно пришептывая (как будто помогая себе читать) большими мягкими губами, размытыми по краям полноценной беременностью. И так же не спеша присела, крепко расставив круглые голые колени и удобно свесив между них основательный живот, — поднять занятную книжицу и припрятать от мужа, чтобы потом, когда ма-

ленький родится и немного подрастет, читать ему вечером, вода по строчкам сморщенным от только что вымытой посуды пальцем и ощущая, как мягко уперлась в бок головенка прикорнувшего под мышкой сонного детеныша. И в доме пахнет пирогом с капустой и картошкой-пюре (на молоке и на сливочном масле), а от детских волос — даже сквозь теплые кухонные запахи — доносится отчетливый аромат солнца и теплых птичьих гнезд. Запах, который лучше любой метрики скажет женщине, что ребенку еще не исполнилось пяти лет. И что он пока весь-весь — от завитка на макушке до аппетитной складочки под жирными ягодичками — мамин. Мамина игрушка.

Распрямиться она не успела, маленький Хрипунов еще раз с размаху ударил ее ногой в живот, да так ловко, что сам перевернулся в своем круглом пристанище и, зависнув на мгновение вниз головой, почувствовал, как привычный алочерный мир испуганно вздрогнул, словно сдвинулись какие-то невиданные тектонические пласты, и вдруг начал ритмично пульсировать и сложно содрогаться. И с каждой волнистой судорогой, с каждой мощной спазмой к Хрипунову начал снизу приближаться странный бледный свет, похожий на воронку, все быстрее вращающаяся то посолонь, то против, так что в момент

внезапной смены противотока казалось, что это не воронка даже, а бешено вращающиеся винтовые ножи, вроде тех, что стоят в огромных, промышленных, электрических мясорубках.

Хрипунов попытался уклониться от этого света, натужно упираясь руками и ногами в крупно дрожащие стены, но свет нажимал, и Хрипунов обреченно обмяк и зажмурился, чтобы не видеть, как наливается желтым глаз приближающегося Апокалипсиса и как спешит к выходу немолодой, кривоногий, коренастый ангел с неясным, но очевидно азиатским лицом, что-то торопливо дожевывая на ходу и вытирая о затуманенные, покрытые мельчайшей изморосью крылья крепкие, узловатые пальцы — те самые персты, которыми следовало замкнуть измученному новорожденному всезнающие уста.

*Иглы. Полукруглые колющие. Колющие «грубые» Мэйо. Изогнутые колющие. Колющие изогнутые на 5/8 окружности. Прямые колющие. Изогнутые с тупым концом*

**Х**рипунов-папа и заметно сбледнувший с лица веселый грузчик выволокли из квартиры мычащую от боли хрипуновскую маму — тороп-

ливо, но плавно, словно несли футляр от контрабаса, неуклюжий, неподъемный, но скрывающий внутри нечто бессмысленное, хрупкое и, по слухам, страшно дорогое. Мебельный фургон — слава-те! — никуда не делся, стоял на углу. Шофер, немолодой мужик с простым картофельным лицом, терпеливо спал в кабине, закинув храпящую, клокочущую пасть и уронив на руль набрякшие руки. От барабанного стука в дверь он немедленно пробудился и с готовностью включился в бессмысленную суету вокруг роженицы, которая, повиснув на руках у двух растерянных, потных мужиков, вдруг поджала колени и начала сложно и мучительно сокращаться — будто гигантская креветка или гусеница, к которой поднесли бесцветный, дневной, спичечный огонек.

Шофер, движимый мужским ужасом и могучей силой профессиональной инерции, попытался было затолкать хрипуновскую маму в фургонную, хлопающую брезентом тьму, но, ловко обложенный с двух сторон хуями, сменил направление; и втроем, крякая и сопя (грузчик и Хрипунов-старший по бокам, причитающий шофер с тылу), они таки вставили хрипуновскую маму в кабину и, еще пару минут бестолково побегав вокруг фургона, с места на второй передаче рванули в роддом.

В дороге хрипуновскую маму немного отпустило, и она даже поулыбалась виновато, пытаясь устроиться поудобнее и тыкаясь толстыми глуповатыми коленками в тесную приборную доску, щедро разукрашенную аляповатыми овалами переводных германских девушек с роскошным оскалом и ухоженными, несоветскими волосами. Взмокший шофер с сосредоточенной яростью крутил выпрыгивающий из рук руль и автоматически, как мантру, бормотал — ты, того, дочка, того, дочка, того... — изредка с брезгливым и жадным любопытством косясь на хрипуновскую маму, словно на полураздавленную колесом издающую кошку.

Перед самым роддомом машину тряхнуло на колдобине так, что взвинченный шофер громко, как зевнувшая дворняга, лязгнул зубами, а в фургоне, гремя локтями и дружно покрывая яростным ёбом всю родную советскую власть, посыпались друг на друга Хрипунов-старший и грузчик. Хрипуновская мама, совсем было успокоившаяся и даже повеселевшая, почувствовала, как судорога, задремавшая внизу ее осевшего как весенний сугроб живота, проснулась и с новой хищной силой вцепилась в позвоночник. Поскорей бы, дяденька, проскулила она, не дотерплю, ей-бо, не дотерплю... И тут новый спазм рванул из-

нутри ее намученное тело, рванул — и прямо сквозь белые просторные трусы выдавил на пол унизительно теплую неостановимую струю.

В обитель материнства хрипуновская мама приехала с плавающими от эйфорической боли зрачками и долго не могла понять молоденькую раздраженную врачиху, которая твердила что-то про амниотическую жидкость. «Да воды у тебя отошли или нет, Господи ты Боже мой!» — взорвалась, наконец, докторша и, услышав, что — да, отошли, еще в машине, и что водителю пришлось дать за это целый рупь, потеряла к хрипуновской маме всякий научный и медицинский интерес, спихнув ее на руки толстой медсестре в потрескивающем на тугих боках белом халате.

Медсестра, веселая разбитная жлобовка, проворно повлекла хрипуновскую маму по всем кругам роддомного конвейерного ада — клизма, бритые лобка, душ, праздник переодевания в линялую сорочку с больничным клеймом, — и все это с прибаутками, хиханьками и садистским, вполне палаческим матерком. Хрипуновская мама, поминутно вытирая мокрый ледяной лоб, бормотала — та я сама, я сама все — и натужно улыбалась: медсестру никак нельзя было злить, она могла подменить ребеночка, подсунуть какого-нибудь с кривыми ножками и заячьей губой, а то